

М. К. Лопачева

«Белая лошадь бредет без упряжки...»: И. Бунин и Г. Иванов

В статье говорится о сложном процессе адаптации в европейском культурном пространстве писателей-эмигрантов первой волны, рассматриваются особенности личных и творческих контактов представителей русской литературной диаспоры. В данном случае идет речь об истории отношений И. Бунина и Г. Иванова. Ставится вопрос о возможности «виртуального» поэтического диалога двух художников.

Ключевые слова: Георгий Иванов, Иван Бунин, эмиграция, интертекстуальность, реминисценция, интенция, антитеза

Maria K. Lopacheva

«White horse walks without harness...»: Ivan Bunin and Georgiy Ivanov

The article refers to the process of adaptation to the European cultural space of the first wave of Russian literary emigration. Discusses the features of personal and creative contacts representatives of the Russian literary community in the middle 20th century. In this case it is about the history of relations of Georgiy Ivanov and Ivan Bunin. Asked about the possibility of a «virtual» poetic dialogue between two artists.

Keywords: Georgy Ivanov, Ivan Bunin, emigration, intertextuality, reminiscence, volitive, antithesis

У Георгия Иванова есть стихотворение, начало которого вызывает естественную ассоциацию с прозой И. А. Бунина: «Белая лошадь идет без упряжки. / Белая лошадь, куда ты бредешь? / Солнце сияет. Платки и рубашки / Треплет в саду предвесенняя дрожь...»¹.

Впервые миниатюра была опубликована в мюнхенском журнале «Литературный современник» через год после смерти И. Бунина, в 1954 г. Случайно ли ее созвучие с описанием видения, перевернувшего сознание землемера из бунинского рассказа «Астма», в эмиграции, после доработки, названного «Белой лошадью»? Первый вариант текста (под заглавием «Астма») был опубликован в Петербурге, в 3-й книге альманаха «Шиповник» (1908). Позднее, после основательной переработки и значительного сокращения, под названием «Белая лошадь» Бунин публикует рассказ в два этапа: первую часть – в парижской газете «Возрождение» (1927. № 639), вторую – в газете «Последние новости» (Париж, 1929. № 3122).

Ивановская лошадь не несется, как у Бунина, а бредет, но не менее странна, загадочна и завораживает своей свободой. Именно эта свобода белой лошади почему-то пугает бунинского героя: «И так гордо и грациозно несла свою голову, что сразу было видно, что она молода, сильна, ни одного дня не знала упряжи... Но в этом-то и был ужас...»². Рискнем предположить, что созвучия двух текстов неслучайны. Г. Иванов, скорее всего, прочел текст рассказа Бунина еще в 1920-е гг., поскольку время от времени писал критические обзоры для газеты «Последние

новости». Именно к этому периоду относятся и первые личные контакты художников.

Иванов и Бунин познакомились в 1926 г. в Париже на юбилее Бориса Зайцева. Потом в довоенные годы они нередко встречались, переписывались. Однажды Г. Иванов с И. Одоевцевой навестили Буниных в Грассе, в другой раз – в мае 1939 г. – Бунин побывал у Ивановых в Биаррице. Но был период особенно плотного общения Иванова и Одоевцевой с Буниными, когда почти на три месяца они оказались соседями в Русском доме («Maison russe») на Средиземноморском побережье Франции, в местечке Жуанле-Пен (Juan-les-Pins). Ивановы жили здесь с начала ноября 1947 по 14 марта 1948 г. И. А. Бунин с В. Н. Муромцевой-Буниной прибыли сюда 26 декабря 1947 г. и расположились в соседнем с Ивановыми помещении.

Отношения сложились вполне «приветливые», как определяет их в одном из писем В. Н. Бунина, хотя ни разница в возрасте практически в целое поколение (Иванов был на 24 года младше Бунина), ни кардинально противоположные эстетические ориентиры, которым следовали художники, казалось бы, не могли способствовать сближению. И. А. Бунин громкогласно и неизменно отрицал все то, на чем возрос Г. В. Иванов как поэт: символизм, акмеизм, литературная атмосфера предреволюционного Петербурга. Иванов же, высоко ценя прозу Бунина, категорически не принимал его поэзии. Кроме того, не забудем известную «неудобность» характера И. А. Бунина – с одной стороны, и весьма своеобразную

репутацию, сложившуюся у Ивановых в эмигрантской среде – с другой.

Именно об этом Л. Зуров спешит предупредить В. Н. Бунину, в одном из писем назвавшую Ивановых «приятными в общении людьми», деликатными, «умными и на нашем уровне»³. Предостерегая Буниных от сближения с соседями, он язвительно замечает: «...я знаю этих милых людей. Ох, любят поговорить, грешным делом, с простодушным и доверчивым человеком, задавая наивные и милые вопросы, поддакивая»⁴. В ответ на это В. Н. Бунина считает необходимым оправдаться тем, что их общение – не дружба, а «очень хорошие далекие отношения», сообщая при этом такие, например, бытовые подробности: «Сейчас они в очень тяжелом материальном положении. Иногда нет на хлеб. Мы здесь хлеб покупаем на свой счет, и вчера я дала им кусочек, иначе утром им пришлось бы пить пустой кофе»⁵.

И. А. Бунин был более последователен и постоянен в своем расположении к Ивановым. О долгих беседах с Буниным, об атмосфере частых встреч с ним И. Одоевцева оставила яркие воспоминания. И эти мемуары, и разного рода иные свидетельства говорят о том, что, несмотря на символистски-акмеистическую родословную Г. Иванова, Бунин высоко ценил его поэзию, открыв для себя ее еще в 1930-е гг., а в дневнике Бунина есть часто цитируемая исследователями запись от 3 июня 1942 г.: «Читал вчера и нынче стихи – Г. Иванова, Гиппиус. Иванов все-таки поэт настоящий (в зачатке). Г. ужасна. Мошеница»⁶. Весьма независимый и горячий в суждениях о литературе Серебряного века, к мнению Иванова Бунин нередко прислушивался. Под его влиянием изменил он, например, свое отношение к творчеству И. Анненского. Симпатизировал и сочувствовал Бунин и Иванову-человеку, терзаемому печальными обстоятельствами. «Жорж мил и уныл, – пишет он 16 января 1948 г. Г. Адамовичу, – бедность, даже на спирт нету, говорит»⁷.

В свою очередь, Иванов, долгое время не видевшийся с Буниным, после первого совместного вечера в Русском доме, потрясенно констатирует: «Нам дано присутствовать при гибельных предпоследних днях великого писателя русской земли»⁸. Возразившей на это жене Г. Иванов отвечает: «Разве ты не видишь, что он обречен? Как, впрочем, и все мы, поэты и писатели эмиграции. Нас убивает отсутствие воздуха. И любви. Непонимание и безразличие. Ему бы следовало вернуться в Россию. Но никогда не говори с ним об этом»⁹. Угнетенное состояние духа, раздражительность и физическое недомогание Бунина были вызваны кроме прочего конфликтом, в который он оказался втянутым в

эти дни. «Великого Муфтия» некоторые литературные эмигрантские круги обвинили в «большевизанстве», т. е. просоветских настроениях, в связи с его выходом из рядов «Союза русских писателей», увидев в этом жест солидарности с исключенными из «Союза» эмигрантами-владельцами советских паспортов. Бунин это обвинение отвергал, поскольку именно политизированность атмосферы в «Союзе» его разочаровала и подвигла к уходу. Но еще больше угнетала необходимость оправдываться перед соотечественниками. Иванов как никто другой понимал состояние Бунина, поскольку на него самого в послевоенные годы сыпались обвинения в разных грехах: то в коллаборационизме, то в сочувствии большевикам. Ни для того, ни для другого почвы не было, но именно поэтому бунинскую ситуацию он воспринял с чрезвычайным сочувствием, которое выразил в письме, отправленном в соседнюю комнату. «Дорогой Иван Алексеевич, – писал Иванов. – <...> Посмотрите на себя со стороны. Вы слава русской литературы, этого ни в какие кавычки не поставишь. Если Вы дождетесь России – Вас будут носить на руках. Если не дождетесь – биография Ваша чиста и прекрасна независимо от того, пили Вы водку у полпреда и ушли или нет из дурацкого союза»¹⁰.

В мемуарах Одоевцевой речь идет, в основном, о ее собственных беседах с Буниным и общении накоротке, когда Бунин заходил к ним в комнату «по-домашнему», в халате из верблюжьей шерсти. И. Одоевцева отдавала себе отчет, что причиной визитов была все же скорее не она, а, как сам писатель признавался, их окно, из которого открывался вид на Альпы. Бесед Бунина с Ивановым никто не запечатлел, однако из различных писем и дневниковых записей складывается впечатление, что они были и содержательными, и нередко полемичными. Камнем преткновения часто становилась поэзия. Бунин, как известно, считал себя прежде всего поэтом. Однако Иванов категорически отказывался хвалить его стихи, даже несмотря на просьбы Веры Николаевны, которой, вспоминает Одоевцева, он всегда старался угодить. Впрочем, Бунин прощал Болгарину и это. Болгариню Бунин стал звать Иванова, узнав о его отце, гвардейском офицере, служившем в свое время в Болгарии. Не помешал бунинскому расположению к Иванову и опубликованный в «Числах» язвительный отзыв на его стихи. Автор, скрывшийся за подписью «Любитель прекрасного», в заметке под названием «Чья бы корова трещала», иронизирует над бунинскими строчками («В кустарниках трещат коровы / И синие подснежники цветут...») и над его борьбой за чистоту языка:

«Настаиваем, что именно так надо выражаться, если не желаете заслуживать справедливого обвинения в покушении на русский язык... <...> Правда, прежде было принято думать, будто бы коровы мычат, но нынче выяснилось, что это просто пошлая выдумка коверкающих родной язык инородцев и лиц податного сословия. Сомневающимся отсылаем к собранию стихов почетного академика и потомственного дворянина И. А. Бунина»¹¹. В письме к Г. Адамовичу Бунин признается, что особенно задел его пассаж о потомственном дворянстве. Узнать имя «остряка» в тесном литературном кругу было нетрудно, но зла на Иванова, как видно из последующих лет, Бунин не держал.

Сложнее было с другим полемическим сюжетом. Блок – кумир и старшего, и среднего поколений поэтов-эмигрантов, святое имя лично для Иванова – так до конца жизни Бунины принят не был. Не удалось обратиться к «в свою веру» ни Иванову, ни Адамовичу¹². Эту «антиблоковскую» позицию Бунина Иванов рассматривал в качестве симптома непонимания поэзии как таковой, о чем писал в статье о Блоке и Гумилеве в 1949 г. Бунин там не был назван, но упрек принял на свой счет и обиделся, видимо, припомнив горячие споры с Г. Ивановым¹³. После смерти Бунина в некрологе Иванов покаяется в грехе некоего «запанибрательства» с великим писателем, чему «благоприятствовала узкая замкнутость эмигрантского мирка... но и слабо развитое у него понятие о „табели о рангах“»¹⁴. Отметим однако, что ироничные фразы о «ничего не понимавшем в поэзии Буinine»¹⁵ он позволял себе и в последующие годы.

Все это не отменяло ни человеческого тепла, которое всегда сохранял поэт по отношению к Бунину¹⁶, ни той высоты достижений Бунина-прозаика, которая для Иванова была очевидна. Еще в 1928 г., в литературном обзоре, сделанном для парижской газеты «Последние новости», он писал о главах публиковавшегося в «Современных записках» романа «Жизнь Арсеньева»: «Каждый раз, читая Бунина, кажется, что читаешь что-то совсем новое, никогда не бывшее, неизвестно откуда явившееся. Конечно, это все тот же Бунин, которого узнаешь по первому слову, первой прозрачно-затуманенной фразе. Но всегда при этом как-то узнаешь и не узнаешь, каждый раз чему-то и по-новому удивляешься»¹⁷. А еще раньше, в декабре 1927 г., отзываясь на публикацию рассказа «Божье дерево», он констатировал: «Искусство Бунина достигло такой высоты (совершенства и человечности), где все, к чему ни прикоснется художник, становится „чистым золотом“». И в соседстве с его искусством все наши предвзятые каноны кажутся досужими

и ненужными домыслами „текущей литературной жизни“»¹⁸. Эту высоту бунинского искусства как эстетический и нравственный критерий он применяет в том же обзоре при оценке «Сивцева вражка» М. Осоргина, проза которого, по Иванову, имеет «свойство», лишаящее ее «крыльев». Это «свойство» – «отсутствие „просвета в вечность“, отсутствие того „четвертого измерения“, которое сквозит, например, в каждом самом „натуралистическом“ описании Бунина и как бы освещает каждую фразу изнутри»¹⁹.

Как видим, подлинную поэзию Иванов находил не в стихах, а в прозе Бунина. Естественно поэтому предположить, что мысли об искусстве Бунина подвигли его к темпераментной реплике в первом номере за 1933 г. рижской газеты «Сегодня». Заметка называлась «Русский писатель снова не получил Нобелевской премии». Шведских академиком Иванов упрекает в равнодушии к судьбам русской литературной эмиграции, к нравственным ценностям: «Ни величие русской литературы, ни крестные страдания ее их по-прежнему „не касаются“ и вряд ли коснутся»²⁰.

Отозвалось ли в стихах Иванова тесное общение с Буниным и восхищение его искусством? На поверхности знаков этого, кажется, нет, за исключением стихотворения, процитированного в начале текста. Вместе с тем о ряде произведений Иванова можно сказать его же словами из отклика на публикацию стихов Г. Адамовича в 1929 г.: «Они чуть „тронуты“ воспоминанием о родственной Адамовичу поэзии двух великих поэтов: Анненского и Лермонтова»²¹. Используя эту формулу, рискнем предположить, что некоторые тексты Иванова «тронуты» воспоминанием о прозе Бунина. В цикле «Дневник», куда вошли стихи последних лет жизни поэта (он пережил Бунина на пять лет), немало строк, по настроению как будто «бунинских». Возможно, это просто совпадение из-за сходства мировосприятия. Оба с чрезвычайной остротой ощущали неразрывность микрокосма и макрокосма, связанных «единою жизнью», которая «совершает свое таинственное странствование через тела наши»²². Природа в стихах Иванова – не фон, не декорации. Как и у Бунина, она транслирует «повышенное чувство жизни». Правда, у позднего Иванова образы природы, живого пространства, наряду с упоением красотой отмечены печатью расставания: «Цветущих яблонь тень сквозная, / Косого солнца бледный свет, / И снова – ничего не зная – / Как в пять или пятнадцать лет, – / Замученное сердце радо / Тому, что я домой бреду, / Тому, что нежная прохлада / Разлита в яблонном саду». Как у Бунина, пейзажные штрихи и описания в ивановских текстах зачастую самодостаточны, поскольку драматичны

даже в самых безмятежных картинах из-за своей постоянной включенности в эсхатологический контекст: «Жизнь пришла в порядок / В золотом покое. / На припеке грядок / Нежатся левкой. <...> ...В озере купаться / – Как светла вода! – / И не просыпаться / Больше никогда». Отметим, что левкой – один из любимых цветков Бунина²³.

Оба любили горы, море, закаты, сумерки. «Бунин выходил на прогулку только на закате, – вспоминает Одоевцева, – хотя Вера Николаевна и доктор старались убедить его, что это безумие – он каждый раз рискует простудиться. <...> Упрямства его никто победить не мог, даже он сам. Ведь он прекрасно знал, что „этот блеск – есть смерть“, и все же ежедневно подвергал себя риску заболеть, только бы еще раз увидеть великолепный, торжественный средиземноморский закат»²⁴. Закат – один из устойчивых элементов образной системы Иванова – в позднем творчестве, как и в юности, говорил о «кином», о «четвертом измерении»²⁵, как и в стихотворении 1956 г.: «Закат в полнеба занесен, / Уходит в пурпур и виссон / Лазурно-кружевная Ницца... / ...Леноре снится страшный сон – / Леноре ничего не снится».

Влечение к переходным состояниям мира, будь то вечер или весна/осень, отражало общую для двух художников склонность к трансгрессивности, зачарованности экзистенциальной ситуацией пограничья, в которой важно не столько разделение, сколько стык полярностей «на границе снега и таянья, / Неподвижности и движения, / Легкомыслия и отчаяния...». Усиленное внимание к подобным сюжетам – следствие оксюморонного типа мироощущения, что отражалось и в художественных системах авторов. В чистом виде сама фигура-двойник, весьма радикальная форма образной аргументации, у Иванова встречается нечасто: «преlestные враги», «надежда безнадежная», «красивая до безобразия», «ледяной огонь»... Зато достаточно часто обращают на себя внимание парадоксальные высказывания с явно оксюморонной редукцией: «Я думаю о эпохе...<...> О бесчеловечной мировой прелести и одушевленном мировом уродстве...»²⁶, «В лучах расцвета-увяданья, / В узоре пены и плюща / Сияет вечное страданье...», «Словно отблеск заката-рассвета, / <...> Просияла – как счастье во сне – / Невозможная встреча – прощанье...». Эта особенность поэтического мышления вполне сопоставима с «искусством Бунина», чьи произведения пронизывает, по выражению О. В. Сливичкой, «трагический мажор или, что одно и то же, мажорный трагизм, выраженный с определенной яркостью и наивысшим напряжением»²⁷. Как и для Иванова, для Бунина

характерна сосредоточенность «на таком качестве бытия, как полярность. Его интересуют крайние точки, <...>, которые он то разводит, то стремительно сближает... <...> Жизнь и смерть. Счастье и страдание. Прошлое и настоящее. Их слиянность и противопоставленность – вот что составляет сущность и микрообразов и самого общего впечатления от его творчества»²⁸. Все это в равной мере можно отнести и к творчеству Иванова. Неслучайно, вероятно, среди бунинских текстов особенно выделял он «Митину любовь» (считал повесть лучшим из написанного Буниным) и «Солнечный удар», где найдем эти самые слияния, безошибочно передающие суть переживания²⁹.

Для обоих авторов была очевидна неразделимость любви и смерти. По Бунину, вообще «мысль о смерти всегда присутствует в любви»³⁰. Иванов взволнованно говорит о блестящем умении Бунина передать это странное соединение несоединимого в «Жизни Арсеньева» при описании первого поцелуя, а потом – «потрясающе простое описание смерти полуживого безразличного человека и того, как под впечатлением этой смерти началась „первая весна, которую я встретил в деревне взрослым“»³¹. В оксюморонной стилистике написан и сам критический этюд Иванова, назвавшего фразу Бунина «прозрачно-затуманенной».

Инверсированные, как у Бунина, «концы» и «начала» создают атмосферу ивановских циклов «Дневник» и «Посмертный дневник». Отраженная в них личная экзистенциальная ситуация предстает в формулах, близких бунинским. Ощущение надвигающегося финала обращает мысль к прошлому, усиливает и ранее заметный в Иванове пассаизм. Понимание неотвратимости холодной пустоты ввергает в отчаяние, спасением от которого становится только одно: поэзией и воспоминанием «хлороформировать» сознание. «Восторгу развоплощения» противопоставлен у Иванова, как и у Бунина, вечный сюжет победы любви над смертью, «голубой белизны петербургского мая» над «ледяным, безвоздушным, бездушным эфиром».

Весна и смерть нередко сосуществуют в текстах Иванова, как и в стихотворении о белой лошади. Парадоксальна миниатюра не только этим соединением, но и той самой атмосферой «повышенной жизни», которая по-бунински «резким толчком в плотную приближается» (О. Сливичкая) к глазам читателя в первой строфе и странным образом уживается с отрешенностью лирического героя. Несмотря на реминисценцию в первых строчках, стихотворение звучит почти антитезой по отношению к бунинскому рассказу. Там – «уже по-осеннему пусто и сирот-

ливо» в полях, здесь – «предвесенняя дрожь». Там – волнующая и страшноватая в своей густоте натуралистичности таинственная ночная жизнь природы, здесь – рефлексия эмигранта, «глухой европейской дырой» наказанного за небрежность расставания с Россией («Не оглянулся, не перекрестился...»). У Бунина – возбуждение героя, рефреном звучащий эпитет «жуткий», включенный в оксюморонные пары: «жуткий восторг», «жуткое восхищение». Беспокойное состояние землемера передают и «радостное отчаяние», и «сладострастный трепет ужаса». У Иванова лирический герой пребывает в «сияньи одеревененья»: «Хоть поскучать бы... Но я не скучаю. / Жизнь потерял, а покой берегу. / Письма от мертвых друзей получаю / И, прочитав, с облегчением жгу / На голубом предвесеннем снегу». Вместе с тем явление белой лошади маркирует главную тему этих произведений, а у Иванова указывает на диалоговую интенцию выстроенного на антитезе текста. Повергающая в состояние мистического ужаса лошадь из видения землемера знаменует его скорый конец. Белая лошадь Иванова лишена мистического ореола и своим спокойствием и свободой скорее умиротворяет, хотя и завораживает, приковывает взгляд: «Куда ты бредешь?». Именно этим образом сопряжены тексты внутренне, ведь речь идет все о том же пограничье. Обостренное восприятие всего и вся у бунинского героя – знак границы жизни и смерти, к которой он, не ведая того, подошел. Пугающая красота и сила белой лошади символизируют торжество высшей, надмирной силы. Смысл видения герой постигает, найдя ответ в книге Иова. В «безумный восторг» привели его стихи о белой лошади («Хрипение ноздрей ее – ужас...»). Это Всевышний дал ему знак, напомнив бедному маленькому «осленку» о своей «Силе и Беспощадности», о «великой красоте проявления этой силы на земле». Герой готов принять высшую волю.

Лирический герой Иванова также подошел к некой границе, на что указывают кольцующий текст эпитет «предвесенний» и соединение в третьей строфе весны и смерти («письма от мертвых друзей»). Отстраненность героя нарушается финалом. «С облегчением» сожженные письма декларируют его готовность перейти к новой странице жизни, доверившись судьбе.

Оба текста говорят об освобождении души, о принятии хода вещей, о торжестве высшего порядка, хотя представленные в них экзистенциальные ситуации зеркальны. Герой Бунина внутренне готовится к уходу, тогда как лирический персонаж Иванова, сжигая за собой мосты-письма, расчищает место для новой надежды, о чем говорит голубизна предвесеннего снега.

Цвет этот в художественной палитре поэта занимает особое место, наделен поливалентной семантикой, соединяя в себе антиномичные смыслы, может указывать как на «концы» («Голубая ночь одиночества – / На осколки жизнь разбивается, / Исчезает имя и отчество...»), так и на «начала» («голубая белизна петербургского мая»). В данном случае предвесенняя голубизна снега вобрала в себя то и другое: конец зимы и близость весны. Именно этой краской над «покоем» одерживает верх «повышенное чувство жизни».

Таким образом, с определенной уверенностью можно заключить, что и после Русского дома диалоги «Великого Муфтия» и Болгарина, главного русского прозаика XX в. и первого поэта русской эмиграции, продолжались, переместившись в виртуальное пространство, в «четвертое измерение».

Примечания

¹ Здесь и далее лирика Г. Иванова цитируется по изд.: Иванов Г. Стихотворения. СПб.: Акад. проект, 2005.

² Бунин И. Собр. соч.: в 6 т. М.: Худож. лит., 1987. Т. 2. С. 280.

³ Цит. по: Арьев А. Жизнь Георгия Иванова: док. повествование. СПб.: Журнал «Звезда», 2009. С. 356.

⁴ Там же.

⁵ Там же. С. 357.

⁶ Бунин и Кузнецова: искусство невозможного: дневники, письма. М.: Грифон, 2006. С. 210.

⁷ Бунин И. А. Новые материалы. М.: Рус. путь, 2004. Вып. 1. С. 73.

⁸ Одоевцева И. На берегах Сены. М.: Худож. лит., 1989. С. 247.

⁹ Там же.

¹⁰ Цит. по: Арьев А. Указ. соч. С. 353.

¹¹ Бунин И. А. Новые материалы. Вып. 1. С. 21.

¹² Об истоках этой неприязни см.: Марченко Т. В. «Мало бунинской атмосферы, нужна и блоковская»: поэма А. А. Блока «Двенадцать» в худож. сознании И. А. Бунина // Ежегодник Дома русского зарубежья им. Александра Солженицына, 2011. М.: Дом рус. зарубежья им. А. Солженицына, 2011. С. 45–73.

¹³ Текст статьи, опубликованной в «Возрождении», вошел затем во 2-е издание «Петербургских зим». Бунина задело строки: «С тем, что Блок одно из поразительнейших явлений русской поэзии за все время ее существования, уж никто не спорит, а те, кто спорят, не в счет. Для них, по выражению Зинаиды Гиппиус, „дверь поэзии закрыта навсегда“» (Иванов Г. Собр. соч.: в 3 т. М.: Согласие, 1994. Т. 3. С. 163).

¹⁴ Там же. С. 611.

¹⁵ Письмо к В. Маркову от 14 октября 1955 г. См.: Марков В. О русском «чучеле совы». Новосибирск: Свиныйн и сыновья, 2012. С. 327.

«Белая лошадь бредет без упряжки...»: И. Бунин и Г. Иванов

¹⁶ См., например, письмо к Р. Гулю: «„Великий Муфтий“ – в отличие от большинства нашей братии – мущина искренняя: пишет и говорит, что думает. <...> И особенно забавно, трогательно даже, что в своей „непримиримости“ он был ребячески искренен, без всякого оттенка притворства» (Георгий Иванов – Ирина Одоевцева – Роман Гуль: тройственный союз: переписка, 1953–1958 гг. СПб.: Петрополис, 2010. С. 34–35).

¹⁷ Иванов Г. Собр. соч. Т. 3. С. 517.

¹⁸ Там же. С. 505.

¹⁹ Там же. С. 507.

²⁰ Там же. С. 569.

²¹ Там же. С. 521.

²² Бунин И. Собр. соч. Т. 4. С. 453.

²³ См., например, запись в дневнике Бунина от 3 апреля 1942 г.: «Летний день. <...> Зацвело грушевое дерево, яблоня – самое прелестное. <...> Цветут левкои. Букет у меня на столе. Несказанно очароват. благоухание.

Мучительная медленность войны...» (Бунин и Кузнецова. С. 216).

²⁴ Одоевцева И. Указ. соч. С. 252.

²⁵ Один из его рассказов именно так и озаглавлен – «Четвертое измерение».

²⁶ Иванов Г. Собр. соч. Т. 2. С. 9.

²⁷ Сливцкая О. В. «Повышенное чувство жизни»: мир Ивана Бунина. М., 2004. С. 9.

²⁸ Там же. С. 7.

²⁹ См., например: «Он был болезненно, пьяно несчастен и вместе с тем болезненно счастлив, растроган возвратившейся близостью Кати...»; «Как дико, страшно все будничное, обычное, когда сердце поражено <...> этим страшным „солнечным ударом“, слишком большой любовью, слишком большим счастьем!» (Бунин И. Собр. соч. Т. 4. С. 339, 386).

³⁰ Одоевцева И. Указ. соч. С. 258.

³¹ Иванов Г. Собр. соч. Т. 3. С. 517.